

18+

АЛЕКСАНДР УРСУ

**Возьми меня.
Брось меня**

Александр Урсу

Возьми меня. Брось меня

«Издательские решения»

Урсу А.

Возьми меня. Брось меня / А. Урсу — «Издательские решения»,

Есть Дракон, который туманит разум людей. Под его властью человек теряет способность критически мыслить и отличать истину от лжи. Дракон полностью подчиняет себе волю людей и заставляет их совершать блудодеяния. За это они погибнут в огненном озере, а их имена будут стёрты из великой Книги жизни. А что, если это не сказка? А что, если сама эта мысль — «мне кажется, это сказка» — и есть тот самый туман разума? А что, если эта книга поможет его рассеять? Готовы ли вы увидеть Красного Дракона?

© Урсу А.

© Издательские решения

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	6
Упыри	7
От автора	7
Глава 1. «Выпуск»	8
Глава 2. «Свобода»	13
Глава 3. Великолепный Париж	18
Глава 4. Потомки Марса	20
Глава 5. Белые братья	22
Глава 6. Проклятый город Кишинёв	25
Глава 7. Жорж Шарль Дантес	28
Глава 8. Барон Луи Геккерн	31
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Возьми меня. Брось меня

Александр Урсу

© Александр Урсу, 2026

ISBN 978-5-0071-1252-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ВВЕДЕНИЕ

Дорогой читатель.

Перед вами — не просто сборник рассказов со странным названием. Это хроники одной незримой войны. Войны, которая длится не одно столетие и не одно тысячелетие. Это битва между Белым и Красным Драконом, которая происходит здесь и сейчас в нашем мире.

Я предлагаю, через рассказы, отправиться в путешествие во времени и осознать эту незримую битву.

Увидеть Петербург начала XIX века, где среди сальных свечей и лицейских мундиров жил великий поэт. Затем увидеть Вашингтон шестидесятых годов XX века и то время, когда мир был на волоске от ядерной катастрофы. Затем вернуться в наше время — в начало XXI века, где искусственный разум попытается нас предупредить о чём-то очень важном.

В последнем рассказе вы увидите будущее. И это не XXII век. Это ближайшее будущее, которое неизбежно наступит, если Красный Дракон победит.

Хотите увидеть и победить Красного Дракона?

Тогда возьмите эту книгу.

Нет? — бросьте её и никогда не читайте.

Упыри

От автора

Этот рассказ посвящается великому гению — Александру Сергеевичу Пушкину. Тому, кто вдохновил меня на творчество.

Александр Сергеевич не ошибся в своих надеждах: его помнят. Потомки не забыли. И пока звучит русский язык, пока бьются сердца тех, кто хоть однажды прикоснулся к его стихам, — он жив.

Я надеюсь, что этот рассказ позволит читателю по-новому взглянуть на жизненный путь великого поэта, увидеть за хрестоматийным портретом живого, страстного и ошибающегося человека.

Я уверен: пока потомки помнят и чтят таких людей — Россия будет столь же прекрасной и великой.

Урсу Александр Васильевич

Глава 1. «Выпуск»

9 июня 1817 года. Царское Село.

Солнце ударило в окна дортуара рано, по-летнему нагло, не спрашивая разрешения. За шесть лет воспитанники привыкли вставать затемно, при свечах, под окрик дядьки — а тут, в последнее утро, природа словно издевалась: смотрите, мальчики, вот он, мир, в который вы так рвались.

Пушин проснулся первым. Не от света — от тишины. За шесть лет он ни разу не слышал такой тишины в лицейских стенах. Ни храпа Кюхельбекера, ни бормотания Дельвига, который разговаривал во сне стихами, ни возни Илличевского, вечно перекладывающего под подушкой тетради. Тишина стояла торжественная, как в церкви перед венчанием.

Он сел, опустив босые ноги на холодный пол. Обвёл глазами ряды коек. Двадцать пять мальчишек, с которыми он прожил шесть лет в одной комнате. Двадцать пять братьев, ставших ближе, чем родные по крови. Завтра — нет, уже сегодня — они разъедутся. Кто в гвардию, кто в министерства, кто в далёкие губернии. И никогда больше не соберутся вместе. «Никогда» — слово, которое в семнадцать лет не укладывается в голове.

Он посмотрел на койку напротив. Пушкин лежал на боку, уткнувшись лицом в подушку, одеяло сбито в ком у ног. Спал или притворялся — не поймёшь. Всегда умел притворяться, когда не хотел разговоров.

— Александр, — негромко позвал Пушин.

Молчание.

— Француз, вставай. Церемония через три часа.

Пушкин пошевелился. Из-под подушки вылезла рука, пошарила по тумбочке, наткнулась на огрызок пера.

— Не тронь, — пробормотал он, не открывая глаз. — Я сплю. И буду спать до самого чина коллежского асессора.

— До асессора долго спать придётся, — хмыкнул Пушин. — Тебе пока только четырнадцатый класс светит.

— Вот и разбудишь, когда заслужу.

Пушин усмехнулся и принялся одеваться. За шесть лет он научился не спорить с Пушкиным по утрам.

Постепенно дортуар оживал. Первым поднялся Матюшкин — будущий моряк, всегда дисциплинированный, даже в последний день. Затем Вольховский — первый ученик, «Суворчик», как звали его за спартанские привычки. Кюхельбекер вскочил, опрокинув стул, запутался в одеяле, пробормотал что-то по-немецки. Дельвиг сел на кровати и замер, глядя в стену остановившимся взглядом, словно прощался с каждым кирпичом.

— Тося, ты живой? — спросил Пушкин, наконец открыв глаза.

— Не уверен, — ответил Дельвиг, не поворачивая головы.

Никто не смеялся. Всем было не по себе.

Через час они выстроились в коридоре. Дядька, отставной унтер-офицер, обходил строй, поправлял воротники, одёргивал мундиры. Новенькие, с иголки, тёмно-синие, с красными воротниками и золотым шитьём. Шесть лет они носили затрапезные сюртуки и теперь чувствовали себя ряжеными.

Пушкин стоял в третьем ряду — рост не позволял встать в первый, да и успехи не позволяли. Он теребил обшлаг мундира, и Пушин заметил, что манжета уже отпорота.

— Зашил бы, — шепнул он.

— Успеется, — отозвался Пушкин. — Всю жизнь теперь зашивать.

Он оглянулся по сторонам, вытянул шею, высматривая в толпе лицеистов знакомые лица. Данзас стоял справа, прямой как палка, — будущий офицер, одна из немногих судеб, которую Пушкин пока не мог предсказать. Корсаков слева, нервно поправлял ноты в папке — ему предстояло петь прощальный гимн. Яковлев стоял рядом с ним, и Пушкин слышал, как они вполголоса переругиваются из-за какой-то музыкальной фразы. Комовский, библиотекарь по званию, шептал что-то о потерянной книге. Даже сейчас, в последний час, он думал о книгах.

Пушкин перевёл взгляд дальше. В первом ряду, на месте лучших учеников, стояли Вольховский и князь Горчаков. Горчаков — красавец, любимец профессоров, будущий дипломат. Уже сейчас он стоял так, словно принимал послов. Вольховский, напротив, выглядел сурово, по-военному и мундир сидел на нём как влитой.

— Господа, прошу тишины, — дверь из зала приоткрылась, и инспектор Фролов поманил их рукой. — Их величество уже в зале. Не подведите Лицей.

Они вошли.

Зал дышал, колыхался, шелестел платьями и веерами. Родители, сановники, попечители, профессора — все собрались под высокими сводами, украшенными гирляндами из живых цветов. В первом ряду — министр народного просвещения князь Голицын, попечитель граф Разумовский. Духовник Лицея, отец Иоанн, стоял в стороне, сложив руки на животе.

Император сидел в кресле чуть поодаль, на небольшом возвышении. Александр Павлович в сорок лет всё ещё был хорош собой, но что-то в лице его уже увяло, словно от постоянной усталости. Он сидел ровно, положив руки на подлокотники, и смотрел перед собой отсутствующим взглядом. Ему было скучно. Всем императорам скучно на выпускных церемониях.

Пушкин заметил этот взгляд. И император заметил, что его заметили. Их глаза встретились на мгновение. Пушкин не отвёл взгляда — он никогда не отводил взгляда, даже перед государем. Император чуть прищурился, словно запоминая. И перевёл глаза на первого ученика.

Директор Энгельгардт вышел на кафедру. Егор Антонович — немец, педантичный, строгий, но любящий их по-своему. Он зачитал отчёт. Цифры, списки, успеваемость. Родители напряжённо вслушивались в каждое слово — чей сын лучше, чей хуже, кому какой чин.

Пушкин не слушал. Он смотрел в окно. Там — парк, аллеи, Екатерининский дворец вдали. Он знал каждое дерево, каждый поворот дорожки. Шесть лет он прожил здесь, не выезжая никуда — ни на каникулы, ни на праздники. Родителей он видел редко, от случая к случаю, и уже привык к мысли, что настоящая семья — вот эти двадцать четыре мальчишки, которые сейчас застыли рядом с ним, боясь шелохнуться.

— ...воспитанник Пушкин Александр, — голос секретаря вырвал его из задумчивости. — Четырнадцатый класс, коллежский секретарь.

По залу пробежал шепоток. Четырнадцатый класс — низший в Табели о рангах. Это не давало даже личного дворянства. Отец Пушкина, Сергей Львович, сидевший в третьем ряду, нервно сжал перчатку. Кто-то из сановников переглянулся с соседом — от такого таланта ожидали большего, но Бог с ним, с талантом, дисциплина важнее, а дисциплины у Пушкина не было никогда.

Пушкин принял новость спокойно. Лишь желваки дрогнули на скулах. Он знал, что так будет. Куницын предупреждал его ещё зимой: «Ваши стихи, Пушкин, не заменят аттестации. Чины даются за службу, а не за рифмы».

Куницын... Вот кто сейчас выходил на кафедру.

Александр Петрович Куницын, профессор нравственных и политических наук, был невысок, сухощав, с горящими глазами. Он не носил парика, и его собственные волосы, тёмные и жёсткие, топорщились в разные стороны, придавая ему вид вечно взволнованный. Лицеисты

любили его больше всех. Он учил их не закону Божьему, не риторике, не математике — он учил их свободе. Осторожно, в рамках дозволенного, но так, что эти рамки начинали трещать.

— Выпускники, — начал он, и голос его, негромкий, но ясный, прозвучал в тишине, как удар колокола. — Шесть лет назад вы вступили в эти стены детьми. Сегодня вы выходите из них — нет, не мужами. Гражданами.

Он помолчал, обводя их глазами.

— Вам многое дано. Знания, которые вы получили здесь, редки не только в России — в Европе. Вам дали языки, науки, историю, философию. Но важнейшее, чему мы пытались вас научить, — это умение мыслить. Ибо человек, не умеющий мыслить, подобен слепцу с посохом, который бредёт, не ведая пути. А человек, умеющий мыслить, но боящийся это делать, подобен зрячему, который добровольно закрыл глаза.

Пушкин слушал затаив дыхание. Он знал: Куницын рискует. При дворе не любили таких речей. Даже сейчас, в этом зале, среди цветов и парадных мундиров, каждое слово ловилось невидимыми ушами.

— Вы идёте служить, — продолжал Куницын. — Служить Отечеству. Не чинам. Не лицам. Не обстоятельствам. Помните об этом. Когда перед вами встанет выбор — выгода или совесть, — вспомните, чему вас учили здесь. И да поможет вам Бог.

Он поклонился и отошёл от кафедры. Аплодисменты были сдержанными — так аплодируют тому, кого уважают, но за кого боятся.

Император поднялся.

В зале мгновенно стихло.

Александр Павлович обвёл взглядом строй лицеистов. Он не улыбался. Лицо его, красивое и бледное, было бесстрастным, как маска.

— Господа, — произнёс он негромко, но акустика зала разносила каждое слово. — Поздравляю вас с окончанием наук. Я надеюсь, что вы оправдаете попечение, оказанное вам.

Пауза. Он перевёл дыхание, и всем показалось, что сейчас прозвучит что-то отеческое, тёплое. Но император передумал.

— Служите верно. Будьте достойны своего звания.

Он сел. Аудиенция была окончена.

Пушкин скосил глаза на Пущина. Тот стоял с каменным лицом, но кончики губ подрагивали — он едва сдерживал усмешку. «Служите верно». Как будто им шесть лет твердили что-то другое. Как будто они не знали, что такое верность.

После церемонии, когда император удалился и гости потянулись к выходу, воспитанники выстроились перед кафедрой в последний раз. Но не по ранжиру, не по уставу — просто сбились в кучу, плечом к плечу.

Директор Энгельгардт хотел что-то сказать, но махнул рукой — понял, что сейчас не время.

И тогда запели.

Корсаков и Яковлев вышли вперёд. Голоса их, чистые и юные, взлетели под своды зала:

Шесть лет промчалось, как мечтанье,

В объятьях сладкой тишины...

Это была песня, написанная Дельвигом для них. Для этого дня. Слова, которые они знали наизусть, которые репетировали по вечерам, когда никто не слышал.

И вот уж, друзья, час прощанья,

И вот уж скрылись вы вдали...

Голоса срывались. Кюхельбекер, стоя во втором ряду, беззвучно плакал — слёзы текли по его длинному некрасивому лицу, и он не вытирал их. Дельвиг пел вместе со всеми, но слова

выходили глухо, словно сквозь вату. Пушкин пел, но смотрел поверх голов, в окно, где ветер качал верхушки лип.

Храните, о друзья, храните

Всю ту же дружбу с прежних лет...

Допели. Тишина, наступившая после последнего куплета, была страшнее любой музыки. Профессора молчали. Родители молчали. Даже лакеи у дверей замерли с салфетками в руках.

— Ну, — сказал Пущин, первым нарушая тишину, — кажется, пора.

Они вышли на крыльцо.

Солнце ослепило. После полумрака зала свет казался жидким золотом, разлитым по всему двору. Кареты, экипажи, лошади, кучера. Родители обнимали сыновей, кто-то уже грузил сундуки, кто-то прощался с надзирателями.

Пушкин стоял чуть поодаль, щурясь на свету. Мундир сидел на нём мешковато — за последние недели он похудел, перестал есть, писал ночами. Волосы, вечно растрёпанные, торчали из-под форменной треуголки, которую он так и не научился носить правильно.

Рядом остановился Пущин. Минуту они молчали, глядя на суету у подъезда.

— Ну что, Александр? — спросил Пущин. — Вот и кончилась наша тюрьма. Теперь — воля.

Вечером они собрались в трактире у Сенной.

Место было не аристократическое — дешёвое, прокуренное, с тёмными балками под потолком и сальными свечами на столах. Но сегодня этот трактир принадлежал им одним. Двадцать пять человек заняли длинный стол в углу, сдвинули скамьи, потребовали вина.

Вино принесли. Кислое, красное, в запотевших графинах. Но оно казалось нектаром.

Пили за Лицей. За профессоров. За Куницына — он не пришёл, и это было понятно: ему не следовало пить с выпускниками. Пили за Малиновского, который умер три года назад, но всё ещё стоял перед глазами как живой. Пили за тех, кого уже не было, и за тех, кто ещё будет.

Тосты произносили по очереди. Вольховский — коротко, по-военному: «За службу и Отечество». Горчаков — изящно, с дипломатическим поклоном: «За будущее, которое мы ещё не заслужили, но уже предчувствуем». Яковлев и Корсаков спели что-то застольное, и им подпевали, не попадая в ноты.

Пушкин сидел в конце стола, молчаливый, чуть хмельной. Он смотрел на товарищей, и что-то в его взгляде было такое, что Пущин, заметив это, подсел ближе.

— Ты чего? — спросил он негромко.

— Ничего, — Пушкин покачал головой. — Запомнить хочу.

— Запомнишь. Вся жизнь впереди.

— Жизнь, — Пушкин усмехнулся. — Я хочу жить, Жанно. Понимаешь? Не служить, не выслуживаться, не кланяться. Жить. Писать. Любить. Вот и всё.

Он вдруг встал, постучал ножом по графину. Разговоры стихли.

— Господа, — сказал Пушкин, и голос его прозвучал неожиданно твёрдо, — нас учили умирать за Отечество. Это скучно. Давайте жить за Отечество. Назло казённым перьям и чинам. Назло всем, кто нас считает по табели. Мы — лицейские. И кто бы кем ни стал — генералом, министром, поэтом, — мы останемся братьями. Выпьем за это.

— За братство! — подхватил Пущин.

— За лицейских! — крикнул Кюхельбекер.

Звон кружек заглушил последние слова. Не хрусталь — дешёвое стекло, с трещинами и сколами. Но Пушкину казалось, что этот звон стоит в ушах до сих пор.

Они вышли из трактира глубокой ночью.

Петербург встретил мокрой мостовой и жёлтым светом фонарей. Где-то вдалеке стучали колёса экипажа, лаяла собака, перекликались сторожа. Город не спал, жил своей ночной жизнью.

— Ты куда теперь? — спросил Пушин.

— В Коллегию иностранных дел. Бумаги перекладывать. А ты?

— В гвардию.

— Ну, с Богом, — Пушкин вдруг улыбнулся, быстро, по-мальчишески. — Служи верно. Как велели.

Пушин расхохотался. Они обнялись — крепко, до хруста в рёбрах.

— Увидимся, — сказал Пушин.

— Конечно, — ответил Пушкин. — Куда мы денемся.

Он сунул руку в карман. Пальцы нащупали что-то бумажное. Он вытащил — огрызок лицейского листка, сложенный вчетверо, с неоконченными строчками. Четверостишие, которое он написал сегодня утром, пока все одевались.

Промчались годы заточенья;

Недолго, мирные друзья,

Нам видеть кров уединенья

И царскосельские поля...

Дальше — ничего. Строки обрывались, словно обрезанные ножом.

Пушкин хотел спрятать листок обратно, но порыв ветра вырвал его из пальцев. Бумага взлетела, покружилась над мостовой, упала в лужу. Пушкин шагнул к ней, но остановился.

Чёрт с ним.

Он поднял воротник мундира и зашагал прочь, в темноту, в город, который ещё не знал его имени. За спиной остался трактир, из окон которого всё ещё доносились пьяные голоса. За спиной остался Лицей — шесть лет жизни, уместившиеся в один день. За спиной осталось детство.

Впереди была свобода.

Глава 2. «Свобода»

Июнь 1817 года — декабрь 1819 года. Санкт-Петербург.

Петербург встретил его запахом.

Не тем, к которому он привык в Царском Селе, — прелой листвы, мокрой земли после дождя, нагретой солнцем хвои. Здесь пахло иначе: гарью сальных свечей, речной сыростью, пудрой, табаком, лошадиным потом и духами. И ещё — чем-то острым, тревожным, чего Пушкин не мог назвать, но чувствовал каждой клеткой. «Так пахнет свобода, — подумал он тогда. — Свобода пахнет тревогой».

Он поселился в доме родителей на Фонтанке, но бывал там редко — только ночевать, да и то не каждую ночь. Отец, Сергей Львович, качал головой, глядя на растрёпанного сына, который являлся под утро, швырял сюртук на стул и падал в постель, не снимая сапог. Мать, Надежда Осиповна, вздыхала и крестилась. Но что они могли поделать? Мальчику семнадцать. Мальчик вырвался на волю. Мальчика уже не удержать.

— Ты бы хоть предупреждал, — говорил отец.

— О чём? — Пушкин искренне не понимал. — О том, что я жив?

Служба в Коллегии иностранных дел оказалась фикцией. Его определили в архив — перекладывать бумаги, переписывать ноты, присутствовать. Жалованье — семьсот рублей в год. Смехотворно. Хватало на перчатки и извозчика, да и то не всегда. Но Пушкин и не рассчитывал на жалованье. Он рассчитывал на другое.

На Петербург.

Он ворвался в столичную жизнь, как сквозняк в приоткрытую дверь, — внезапно, резко, заставляя всех поёжиться и обернуться.

В первый месяц его видели везде. В театре — он стоял в партере, окружённый спорщиками, и что-то доказывал, размахивая руками. В Летнем саду — брёл по аллее, читая вслух стихи, и прохожие оборачивались, не понимая, безумен он или гениален. В книжных лавках на Невском — рылся в новинках, ссорился с продавцами, торговался, хотя денег всё равно не было.

Вечерами он пропадал в гостиных.

Это был особый мир — петербургские салоны. Не балы, не официальные приёмы, а именно салоны: полуосвещённые комнаты, где собирались те, кто хотел говорить, а не танцевать. У Карамзина, у Олениных, у Тургеневых — везде были свои кружки, свои правила, свои кумиры. Пушкин входил туда нагло, без приглашения, без рекомендаций — просто потому, что имел что сказать.

И ему позволяли.

— Этот мальчишка, — сказал Карамзин после первого же вечера, — перевернёт всё. Или сломается.

— Не сломается, — ответил Жуковский. — Он из другого теста.

— Из какого же?

— Из того, что переживёт нас всех.

Жуковский ошибся только в одном: Пушкин не пережил их всех. Но об этом пока никто не знал.

Октябрь 1817 года. Типичный вечер.

Пушкин проснулся в пятом часу пополудни на чужой квартире. Чьей именно — не сразу вспомнил. Кажется, Нащокина. Или Корсакова. Или кого-то из новых знакомых, которых он приобрёл за эти месяцы десятками. Лежал на диване, укрытый чужой шинелью, и смотрел в

потолок. В голове шумело. Во рту — вкус вчерашнего шампанского, которое пили из чьей-то туфли. Чьей — тоже не помнил.

— Александр, ты живой? — голос Нащокина донёлся из соседней комнаты.

— Не уверен, — отозвался Пушкин. — Подай воды.

Нащокин вошёл, уже одетый, свежий, с усмешкой на губах. Павел Воинович Нащокин — картежник, мот, добрейшей души человек. Они познакомились месяц назад и сразу сошлись — словно знали друг друга всегда.

— Сегодня у Карамзиных вечер, — сказал Нащокин, протягивая стакан. — Ты обещал быть.

— Я всем обещал быть.

— И у Тургеневых тоже.

— Тоже обещал.

— И ещё ты кому-то обещал дуэль. Но я не расслышал кому.

— Это подождёт, — Пушкин сел, поморщился, выпил воду. — Дуэль — это серьёзно.

А вечер — это святое.

Через час он был на ногах. Умылся ледяной водой, одёрнул сюртук — тот самый, лицейский, который уже заметно пообносился. Манжета снова отпорота, но зашивать было некогда. Да и незачем — всё равно к утру будет новый сюртук, новый карточный долг, новая дуэль. Или не будет. Какая разница?

Нащокин подвёз его до дома Карамзиных на набережной Фонтанки.

У Карамзиных было тесно и душно.

В гостиной, обставленной со вкусом, но без роскоши, собралось человек тридцать. Горели свечи, топились камин, пахло воском и чаем. Дамы сидели на диванах, кавалеры стояли вдоль стен, кто-то курил у приоткрытого окна. Разговоры шли вполголоса — о политике, о Франции, о новой книге мадам де Сталь, которую ещё не перевели, но уже обсуждали.

Николай Михайлович Карамзин, историограф, писатель, человек с усталым лицом и умными, всё понимающими глазами, сидел в кресле у камина. Ему нездоровилось, он кутался в плед, но гостей принимал — не мог иначе.

Пушкин вошёл стремительно, раскланялся, поцеловал руку хозяйке, перекинулся парой слов с Жуковским. И сразу — в центр, в гущу, туда, где спорили о чём-то до хрипоты.

Спорили о государе.

Осторожно, намёками — как спорили в те годы. Иносказательно, но все понимали, о чём речь. О конституции, которую император обещал, но не дал. О военных поселениях, которые называли «аракчеевщиной». О Польше, которой даровали свободу, а своей стране — нет.

Пушкин слушал. Молчал. И вдруг — встрял.

— Вы говорите о свободе так, будто это модный сюртук, — сказал он, и все обернулись. — Примеряете: идёт — не идёт. А свобода, господа, она не снаружи. Она внутри. Если внутри раб, то и конституция не поможет.

Повисла пауза. Кто-то засмеялся нервно. Кто-то нахмурился.

— Мальчишка, — шепнул кто-то в углу.

Карамзин поднял глаза от камина.

— Внутри, говорите? — переспросил он тихо. — Любопытно. Продолжайте.

Пушкин оглядел собравшихся. Бледные лица дам, настороженные взгляды мужчин. Он понял, что сказал лишнее. И понял, что не жалеет.

— В другой раз, Николай Михайлович, — он улыбнулся. — Я сегодня не в духе для философии. Лучше стихи почитаю.

— Читайте, — разрешил Карамзин. — Стихи — это тоже философия.

И он прочитал «Вольность».

Ту самую оду, которую написал на днях, ночью, на квартире у Тургеневых. Читал впервые, и голос его, сперва неуверенный, крепчал с каждой строфой. Слова падали в тишину, как камни в воду:

Питомцы ветреной судьбы,
Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внимайте,
Восстаньте, падшие рабы!

Когда он закончил, тишина стояла звенящая. Не аплодисменты — тишина, в которой слышно было, как потрескивают дрова в камине.

Жуковский сидел бледный, сжав губы. Карамзин закрыл глаза. Дамы переглядывались, не понимая до конца, но чувствуя: произошло что-то важное. И опасное.

— Александр Сергеевич, — произнёс Карамзин, не открывая глаз. — Вы понимаете, что эти стихи нельзя читать вслух?

— Понимаю.

— И всё равно читаете.

— А зачем иначе писать?

Карамзин открыл глаза. Посмотрел на Пушкина долгим, изучающим взглядом.

— Берегите себя, — сказал он. — И уходите. Сегодня — уходите. Я не хочу, чтобы вас запомнили в моём доме.

Это не было грубостью. Это было предупреждением. И Пушкин его понял.

Он поклонился и вышел.

На улице его догнал Жуковский.

— Саша, стой!

Они пошли по набережной. Нева дышала холодом, ветер гнал рябь по воде. Где-то далеко, на Васильевском, горели огни. Петербург жил своей ночной жизнью — равнодушный, бесконечный, ничей.

— Ты соображаешь, что делаешь? — спросил Жуковский негромко.

— Соображаю, — ответил Пушкин. — Я пишу стихи.

— Эти стихи стоят каторги.

— Значит, хорошие стихи.

Жуковский остановился, схватил его за рукав.

— Послушай меня. Ты — талант. Талант, которого у России не было сто лет. Может быть, больше. Но талант — это не индульгенция. Ты думаешь, тебе всё сойдёт с рук, потому что ты гений?

— Конечно, — усмехнулся Пушкин. — А иначе зачем быть гением?

Жуковский отпустил его рукав.

— Ты невозможен.

— Я знаю.

Они постояли молча. Потом Жуковский улыбнулся, и его доброе, мягкое лицо осветилось той улыбкой, за которую его любили все — от императрицы до уличных мальчишек.

— Чёрт с тобой. Только обещай мне одну вещь.

— Какую?

— Не погибнуть.

— Обещаю, — сказал Пушкин. — Пока не допишу.

Час спустя он был на другом конце города.

Квартира на Мойке, у кого-то из офицеров. Вино лилось рекой. Карты летали по столу. Пушкин играл — и проигрывал, и снова играл, и отыгрывался, и снова проигрывал. Деньги

кончились быстро, он поставил перстень — проиграл. Поставил часы — проиграл. Хотел поставить сюртук, но его остановили.

— Ты что, сумасшедший? — спросил Корсаков. — В чём пойдёшь домой?

— В стихах, — ответил Пушкин. — Они греют лучше любого сюртука.

Все засмеялись. Кто-то откупорил новую бутылку. Кто-то затынул песню. Пушкин подпевал, не зная слов, — он никогда не знал слов, но всегда подпевал.

Потом он стоял у окна и курил, глядя на мокрую мостовую. Где-то вдалеке звонили к заутрене. Петербург просыпался.

Нащокин подошёл, встал рядом.

— О чём думаешь?

— О Париже, — сказал Пушкин.

— Что?

— Когда-нибудь я разбогатею и уеду. В Париж. Буду сидеть в кафе, пить кофе и писать стихи. Никто не будет мне указывать, как жить.

Нащокин усмехнулся.

— Ты серьёзно?

— Серьёзней некуда. Там — настоящая свобода.

— А здесь? Разве здесь не свобода?

Пушкин затыкнулся, выпустил дым.

— Здесь? — переспросил он и засмеялся.

Декабрь 1817 года. Пушкин стоял на набережной Невы, у Зимнего дворца. Был морозный вечер, снег скрипел под ногами, в окнах дворца горели огни. Где-то там, внутри, государь давал бал. Пушкина туда не звали — слишком мелкая сошка для Зимнего.

Впрочем, он и не рвался.

Он смотрел на воду. Нева ещё не встала, но по ней уже плыло сало — тонкий ледок, предвестник зимы. Ветер дул с Балтики, пробирал до костей. Пушкин поёжился в своём лёгком сюртуке, но не уходил. Что-то держало его здесь.

— Как хорошо жить, — сказал он вслух.

Никто не ответил. Только ветер свистнул в ответ.

— Как хорошо быть свободным, — добавил он тише.

И в эту минуту он действительно верил в это. В то, что он свободен. В то, что сам выбирает путь. В то, что стихи спасут его, оправдают, выведут из любой передраги.

Он ещё не знал, что его имя уже записано в графу «неблагонадёжных». Что его стихи переписывают от руки и передают из казармы в казарму. Что тайная полиция уже завела на него папку — тоненькую пока, в несколько листов, но с каждым месяцем растущую.

Он стоял на набережной и улыбался звёздам.

Два года спустя. Март 1819 года. Дом Никиты Всеволожского на Екатерингофском проспекте.

Два года после Лицея — это много или мало? Для Пушкина они пролетели как один затяжной, угарный, счастливый вечер. Служба в Коллегии по-прежнему оставалась фикцией: он появлялся в присутствии всё реже, а бумаги, которые ему поручали, покрывались не казёнными нотами, а черновиками стихов. Начальство смотрело на это сквозь пальцы — имя Пушкина уже знала вся грамотная Россия, а с талантами в империи предпочитали быть осторожными.

Петербург тем временем менялся. Гвардейские офицеры, прошедшие Париж, вернулись другими людьми. Они видели Европу, дышали воздухом, в котором слово «свобода» не было крамолой, и теперь в столичных гостиных всё громче говорили о том, что Россия достойна

большого. Пушкин впитывал эти разговоры как губка. И всё чаще бывал у Всеволожского, где этой ночью не просто собрались друзья — здесь рождалось тайное общество «Зелёная лампа».

Собрание началось далеко за полночь, когда разъехались случайные гости. В большой зале, обитой зелёным штофом, затушили почти все свечи. Комната погрузилась в полумрак. В центре длинного стола Всеволожский торжественно зажёл массивную лампу под зелёным шёлковым абажуром. Изумрудный свет мягко озарил лица двадцати собравшихся — поэтов, гвардейских офицеров, будущих заговорщиков. Среди них были Сергей Трубецкой, Фёдор Глинка, Яков Толстой. Пушкин стоял плечом к плечу с единомышленниками, и лицо его было сосредоточенным, непривычно серьёзным.

Председатель общества Яков Толстой поднял над столом массивную чашу с горящим пуншем. Пламя на секунду смешалось с зелёным светом лампы. Все встали, положив правую руку на устав кружка.

В полной тишине зазвучали слова коллективной присяги. Они поклялись хранить верность идеалам свободы и просвещения, никогда не выдавать имена братьев тайной полиции, быть беспощадно искренними в своём творчестве и презирать государственное ханжество.

После клятвы каждый по очереди сделал глоток из общей чаши. Этот терпкий вкус пунша и пьянящего единомыслия Пушкин запомнит на всю жизнь. Завершая ритуал, Толстой вручил каждому члену кружка особый знак — кольцо-печатку с вырезанным на камне изображением горящей лампы. Пушкин надел кольцо на палец; отныне он был не просто свободным художником, а братом закрытого ордена.

Позже он напишет в дневнике: «„Зелёная лампа“ — это не просто общество. Это состояние души. Здесь мы верили, что мир можно изменить».

Впрочем, у «Зелёной лампы» было два лица.

Первый этап собраний был возвышенным. До полуночи, под мягким зелёным светом, велись жаркие дебаты о народном просвещении, о Спинозе, о гражданских правах. Но едва часы били двенадцать, устав кружка требовал сменить суровость на веселье. Зелёный абажур чуть прикручивали; на столе появлялись бутылки, шампанское лилось рекой, и начиналось то, что члены общества называли «вакхальными радениями». К весёлой компании присоединялись молодые петербургские актрисы и танцовщицы.

В разгар очередного тоста Пушкин, с блестящими от вина и азарта глазами, вскочил на стул. Подняв высоко над головой кубок с пенящимся шампанским, он громко, перекрывая шум голосов, провозгласил свои новые, ещё пахнущие свежими чернилами строки:

Давайте пить и веселиться,
Давайте жизнь играть;
Пусть чёрная слепая суетится,
Не нам безумной подражать!

Зала взорвалась одобрителем гулом и звоном бокалов. Поэт хохотал, подмигивал очаровательной танцовщице и щедро разливал вино. Он отдавался этому разгулу со всей страстью своей южной крови. Свобода тела здесь понималась как прямое продолжение свободы духа. И никто из них ещё не думал, как дорого им придётся заплатить за эту свободу — но это будет потом. А пока они были молоды, дерзки и бессмертны.

Глава 3. Великолепный Париж

Октябрь 1823 года. Париж.

Я прогуливался по улице Сен-Жермен поздно вечером — просто брёл, глядя на окна, на фонари, на мокрую мостовую, в которой отражался жёлтый свет. Дела мои в Париже были окончены, и завтра меня ждал путь домой. Денег оставалось в обрез — скромный пансион в мансарде на улице Сен-Жак, дешёвое вино, никаких театров. Я экономил.

Я уже собирался поворачивать обратно, когда дверь особняка наискосок от меня внезапно распахнулась.

На мостовую высыпала толпа — человек пятнадцать, не меньше. Громкий смех ударил в тишину, как выстрел. Кто-то нёс бутылку, кто-то — канделябр с горящими свечами прямо на улицу. Две девицы в роскошных платьях хохотали, цепляясь друг за друга. Мужчина в офицерском мундире без эполет дирижировал невидимым оркестром. А потом они запели.

Сначала я не разобрал слов. Потом — разобрал. Это была старая французская застольная, но слова переделали на русский лад:

«Выпьем, братцы, выпьем, други,
Пусть Париж гудит, как улей!
Здесь мы все — цари и слуги,
Лишь бы кошелёк был тулей!»

Рифма была ужасной, но пели они так заразительно, что я невольно остановился. Дирижёр был огромный. Выше всех на голову. Плечи — как у былинного богатыря. Лицо молодое, совсем мальчишеское, но с тем нервным тиком, от которого его улыбка казалась чуть насмешливой. Он стоял с бутылкой дорогого шампанского в одной руке и дирижировал хором.

А потом запел сам.

Бас. Глубокий, раскатистый, такой, что дрожали стёкла в окнах. Я узнал мотив. Узнал слова. И стоял, оцепенев.

Он заметил меня. Пьяный взгляд вдруг стал страшно суровым.

— Эй! — прогудел он, прерывая пение на полуслове. — Ты что уставился? Ты кто такой?

Повисла тишина, и мне стало не по себе.

— Я купец из России, господин.

Вдруг его лицо расплылось в радушной улыбке.

— Земляк! — взревел он и, шагнув ко мне через мостовую, накинул тяжёлую руку мне на плечо. — Тут тебе рады. Заходи. Уважь меня.

— Я, собственно... — начал я.

— Соппротивление бесполезно, — заявил он и, не слушая возражений, буквально втащил меня в особняк.

Внутри было жарко, светло и шумно. Свечи горели в канделябрах высотой в человеческий рост. Мраморная лестница уходила вверх, и на ней, сидя прямо на ступенях, гости распивали шампанское из горлышек. Пахло духами, табаком, жареным мясом и дорогим вином.

Мой новый знакомый остановился посреди залы и хлопнул в ладоши так, что разговоры стихли.

— Господа! — прогремел он. — Новый гость! Из России. Как зовут тебя, земляк?

Я назвал себя. На мгновение мне показалось, что сейчас меня вежливо выставят за дверь. Купец в Париже — персонаж сомнительный. Не *égalité*, не *fraternité*. Но князь — а это был, как я уже понял, князь — только хлопнул меня по плечу и объявил:

— Ну что же, Степан. Выпьем за Россию!

Послышался звон бокалов и восторженные крики. Так я попал на фантастический праздник жизни молодого князя, который гулял с таким размахом, что об этом потом судачил весь Париж.

Освободившись от объятий любезного хозяина, я решил пройтись и осмотреться. Особняк был ослепительно роскошный, старинный, построенный ещё при Людовике XV. Лепнина на потолке помнила другие голоса. Стены, обитые штофом цвета бордо, видели совсем другую жизнь — чинную, размеренную, французскую. Теперь же по ним металась тень от свечей, и хрустальная люстра дрожала от музыки, хохота и веселья. Шампанское лилось рекой. И это было не просто дорогое вино, а коллекционные экземпляры, которые стоили невероятных денег.

Столы ломились от всевозможных изысканных лакомств, которые непрестанно подносили лакеи. В одной из просторных комнат за столами, покрытыми зелёным сукном, люди играли в карты. Играли по-крупному, а с верхнего этажа доносились женские голоса, ритмично поющие гимн Венере.

Я спустился в зал и подсел к мужчинам в свободное кресло у камина.

— Господа, кто этот щедрый господин?

— Вы спрашиваете, кто он? — переспросил один из гостей.

— Это молодой русский князь Сергей, — ответил другой. — Он приехал в Париж как дипломатический курьер. Доставил депеши в посольство и теперь отдыхает...

Он сделал паузу.

— Уже так пятый день.

— Пятый день? — я поднял бровь.

— Да, он снял весь этот особняк и тратит деньги так, будто они как листья растут на деревьях.

— Удивительная, щедрая русская душа, — сказал один из гостей, поднося к губам бокал изысканного вина.

Я оглядел публику. Общество было таким пёстрым, что в Петербурге от одного его вида устроили бы скандал. Одни актрисы «Комеди Франсез» чего только стоили. Поэты читали очень вольные стихи прямо за столом, перекрикивая художников, которые спорили о красоте человеческого тела.

Молодой князь кипел энергией и был в гуще всех этих событий, создавая атмосферу безудержного веселья и хаоса. Как из рога изобилия из него лились шутки и пантомимы, все вокруг смеялись, а благородные дамы краснели.

В очередной раз он запел снова. Бас его гремел под сводами, и гости подхватывали — кто по-русски, не понимая слов, кто по-французски, импровизируя на ходу.

Выпив очередной бокал, князь со всего размаху разбил дорогой фужер об пол и произнёс:

— Да здравствует свободная Франция! Да здравствует свобода!

Глава 4. Потомки Марса

Париж кипел жизнью и нескончаемым праздником. Самые дорогие наряды, самые дорогие вина, самые дорогие... это можно было бы продолжать бесконечно. Кто бы мог подумать, что совсем недавно эта страна пережила войну. Здесь праздник жизни был поставлен на поток; люди со всего света приезжали в город, который один поэт назвал Содомом современности. Молодой князь из России не был исключением — он был одним из многих благородных мужей, которые, бравирюя богатством, сорили здесь деньгами. Они свято верили в то, что умение жить, не считаясь с расходами, — признак высокого положения и благородства.

В тот самый час, когда очередной русский князь бездумно тратил наследство предков, господин Антонио пил кофе в своём кабинете и смотрел свысока из окон особняка на весь этот маскарад.

К нему бесшумно приблизился один из приближённых.

— Господин Антонио, — произнёс он вполголоса, — вашей аудиенции ожидают братья Блан.

На лице Антонио мелькнуло тщательно скрываемое презрение.

— Пусть подождут, Марк.

— Хорошо, господин. — Мужчина поклонился и растворился в полумраке комнаты.

Антонио продолжал неспешно пить кофе. Ему, как и русскому князю, было не больше двадцати пяти лет, но он казался старше — не лицом, а взглядом. Глаза его были черны как ночь, а во взгляде читались уверенность и сила, не оставляющая места сомнениям.

Глядя на суету людей внизу и мерцающие огоньки чужого праздника, он погрузился в воспоминания, и перед его глазами возникла картина, определившая всю его дальнейшую судьбу.

Три года назад в этом же кабинете сидел Дон Камилло. Он смотрел на Антонио, который стоял перед ним, как нашкодивший кот.

— Антонио, — сказал спокойно Дон, но слова его прозвучали как удар молота. — Ты же знаешь, что я люблю тебя как родного сына.

— Да, дядя, — ответил Антонио, наклонив голову.

— Слушай, когда говорят старшие, и не перебивай, пока тебе не дали слово, — отрезал Дон тем же спокойным, но очень твёрдым голосом.

Антонио склонился ещё ниже и замолчал.

— Антонио, сынок, я тебя понимаю. Ты молод и горяч.

Повисла пауза. Дон продолжил:

— Люди здесь развлекаются и прожигают жизнь.

Опять пауза.

— Я это не осуждаю... Но, Антонио, я осуждаю неумеренность.

Наступила звенящая тишина.

— Ты понимаешь, о чём я говорю? — спросил Дон Камилло, и казалось, что его взгляд сверлил до самых костей.

— Да.

— Нет. Ты не понимаешь.

Снова пауза.

— Антонио, сынок, я сейчас буду говорить, а ты будешь внимательно слушать. Второй раз я повторять не стану, и от того, насколько внимательно ты будешь слушать, зависит твоя дальнейшая судьба. Ты меня понял?

— Да, дядя, я вас внимательно слушаю.

— Ты должен всегда помнить, кто ты есть. Помнить, что ты потомок Ромула и что в твоих жилах течёт кровь самого Марса. Мы — дети великого Марса, вскормленные волчицей. Это не красивые слова и не байка. Это наша память, наше кредо. Мы хищники, мы волки, и мы этим гордимся. А хищник не может себе позволить быть слабым. Это предательство по отношению к роду, это предательство по отношению к Марсу, который презирает слабых.

Дон чуть подался вперёд, и голос его зазвучал жёстче:

— Пьянки, оргии, карты — это для скота. Скот потому и скот, что он слаб и неводержан. Он не может отказаться от желаний. Он не может контролировать себя. И поэтому он всегда будет платить. Мы же — мы хищники. Мы не поддаёмся страстям. Мы управляем ими. И это даёт нам право стричь стадо.

Он помолчал, переводя дыхание, и добавил тише, почти интимно:

— Наше главное отличие от них — это сила. Сила во всех её проявлениях. Сила воли, дисциплина, сила тела и духа. Именно она даёт нам право быть теми, кто мы есть.

— Ты всё понял, Антонио?

— Да, дядя, я всё понял, и я вам благодарен за эти слова.

Антонио допил кофе. Он снова был в своём кабинете, за окном — Париж, всё тот же бесконечный карнавал. Он машинально дотронулся до груди, где под сюртуком лежал медальон с портретом Дона. Напоминание о том, кто он есть.

Он поставил чашку на поднос и, не оборачиваясь, бросил в полумрак комнаты:

— Пусть заходят.

Глава 5. Белые братья

Кабинет Антонио утонул в полумраке. Единственный источник света — настольная лампа с красным абажуром — выхватывал из темноты только стол и руки Марка, сидящего за ним. Сам Антонио расположился в стороне, в глубоком кресле у окна, и лица его было не видно. Лишь золотой перстень на пальце поблёскивал в полутьме, когда он чуть шевелил рукой.

Дверь отворилась. Вошли двое.

Братья Блан — Франсуа и Луи. Одетые с иголки: тёмные сюртуки, белые манишки, идеально накрахмаленные воротнички, лакированные туфли. Старший держал в руках увесистый кожаный портфель — из тех, с какими ходят банкиры, когда не хотят, чтобы содержимое видели посторонние.

Они остановились у двери, чуть сгибаясь в поклоне. Плечи приподняты, головы опущены — поза людей, которые привыкли просить, а не требовать.

Антонио поднял руку. Жест был едва заметным — как взмах дирижёрской палочки перед началом увертюры. Сначала он указал на стулья перед столом: садитесь. Затем, когда братья сели, едва шевельнул пальцами: начинайте.

Марк, сидящий за столом, кивнул.

— Господа, я вас слушаю.

— Благодарим за аудиенцию, — заговорил Франсуа, старший. Голос его звучал ровно, но пальцы, сжимавшие портфель, чуть подрагивали. — Дела идут хорошо. Мы выражаем вам огромную признательность.

Он протянул портфель. Марк принял его, не заглядывая внутрь, — вес сказал ему всё, что нужно.

Затем братья поднялись. Подошли к креслу Антонио. Сперва старший, за ним младший — каждый по очереди наклонился и коснулся губами золотого перстня с орлом. Перстень был холодным. Или это им показалось.

Антонио не шевельнулся. Только когда оба выпрямились, он сделал короткий жест рукой — такой, каким стряхивают крошки со стола. Всё. Можете идти.

Братья поклонились и вышли, пятясь к двери.

Карета мягко покачивалась на булыжной мостовой. За окнами проплывал вечерний Париж.

Франсуа и Луи сидели друг напротив друга. Старший смотрел в окно, младший — на свои руки.

Луи заговорил первым:

— Ну что ты молчишь?

— О чём мне говорить? — спокойно ответил Франсуа, не поворачивая головы.

— О том, что мы, французы, перед ними унижаемся! — Луи сорвался почти на крик. — Что это за манера — целовать ему руку? Он что, папа римский?

Франсуа медленно повернулся к брату. Посмотрел на него долгим, изучающим взглядом — так смотрят на ребёнка, который спросил что-то неловкое при гостях.

— Ты знаешь, кто был папой римским шестьсот лет назад?

Луи опешил.

— Какая разница?

— Огромная.

Франсуа откинулся на спинку сиденья. Заговорил негромко, почти лениво — так рассказывают историю, которую знают наизусть.

— Его звали Александр VI. Он легализовал проституцию в Риме. Поставил её на поток. Все бордели Вечного города работали под его патронажем, и с каждого проданного тела он получал свою долю. Схема была гениальная: грехи — и тут же получай отпущение. Только плати. Деньги текли в Ватикан непрерывным потоком. Рим был столицей легализованного разврата, и папа был его главным бенефициаром.

Он сделал паузу.

— И что? — спросил Луи.

— А то, — Франсуа наклонился вперёд, понижая голос до шёпота, — что тот, кому ты сегодня целовал руку, — говорят, что это его прямой потомок.

В карете повисла тишина. Стучали колёса. Где-то далеко кричал разносчик.

— Кто говорит? — спросил Луи.

Франсуа усмехнулся — одними уголками губ.

— Тот, кто говорит о таких вещах, очень мало живёт.

Луи хотел что-то возразить, но промолчал. Карета катила дальше.

Пале-Рояль встретил их привычным блеском и красотой.

Аркада внутреннего двора сияла огнями — сотни фонарей отражались в мокрой после дождя брусчатке, превращая её в зеркало. Слева — галерея магазинов, где продавали духи, кружева и фарфор; справа — кафе с открытыми террасами, где за столиками сидели люди, чьи имена стоили больше, чем состояния целых провинций. В центре — фонтан, у которого встречались куртизанки с клиентами, поэты с издателями, шулеры с жертвами.

Это было не просто игорное заведение. Это была империя в миниатюре. И правили этой империей братья Блан.

Они вошли через боковой вход. Швейцар в ливрее с золотым галуном узнал их и почтительно поклонился, не задавая вопросов.

Они поднялись по мраморной лестнице на второй этаж. Здесь было всё то, ради чего люди приезжали в Париж.

Залы открывались один за другим — анфилада, уходящая вглубь. Высокие потолки, хрустальные люстры, которые, казалось, висели в воздухе, тяжёлые штофные портьеры на окнах, скрывающие даже намёк на уличный свет. Всё здесь было создано для того, чтобы человек, войдя, забыл, что существует внешний мир.

Карточные столы стояли рядами — зелёное сукно, на котором игра света и тени создавала иллюзию бесконечного движения. За одними играли в баккара, за другими в фараон, в углу — рулетка, привезённая из Баден-Бадена, ещё недавно считавшаяся там новинкой. Шарик бежал по кругу, останавливался, и голос крупье объявлял номер с той же интонацией, с какой священник произносит «аминь».

Запах табака, духов и денег висел в воздухе, как обещание. Запах, к которому невозможно привыкнуть, но который узнаёшь с первого вдоха, — запах человека, который, чтобы получить всё, готов всё отдать.

Здесь играли по-крупному, здесь вершились судьбы.

В углу играл струнный квартет, почти не слышный за шумом голосов и звоном монет, но создающий тот невидимый слой напряжения, без которого игра была бы просто переключением фишек. Игроки почти не замечали её — но если бы она смолкла, все бы сразу почувствовали, что чего-то не хватает.

Франсуа Блан остановился на мгновение, окидывая взглядом зал. Луи стоял рядом, не скрывая улыбки.

— Нравится? — спросил Луи.

— Всегда, — ответил Франсуа.

Они прошли к себе через главный зал. Едва братья переступили порог, как перед ними вырос управляющий — низкий поклон, услужливая улыбка.

— Господа, с возвращением.

— Сегодня у нас праздник, — бросил Луи, проходя вперёд и даже не взглянув на поклонившегося. — Организуйте всё в лучшем виде.

— Будет исполнено, господин Луи.

Большая комната, отделанная дубом и бархатом. Тяжёлые шторы, серебряные канделябры, зеркало во всю стену. Луи рухнул в кресло, закинул ногу на ногу, налил себе вина. Франсуа остался стоять у окна, глядя вниз, на улицу.

Через пять минут вино уже стояло на столе — три бутылки, запотевшие от прохлады погреба. Закуски на серебряных подносах: устрицы, паштет, холодное мясо.

— Господа, в скором времени будут поданы особые блюда от шеф-повара. Повар просил передать, что сегодня он превзойдёт самого себя. А на десерт, — он сделал паузу, многозначительную, но почтительную, — на десерт будут самые сладкие красавицы Парижа.

Луи усмехнулся.

— Ступай.

Слуга исчез.

Луи поднял бокал, посмотрел сквозь рубиновую жидкость на свет.

— Пришло время побеждать без боя, — произнёс он, смакуя каждое слово. — Ты только подумай, Франсуа. Русские сами везут нам золото. Сами! И с ними даже не надо воевать.

Он отпил глоток.

— Благодаря нашей системе русское золото само течёт в Париж. А мы сидим здесь, в тепле, и даже ног не замочили.

Франсуа обернулся от окна. Взял свой бокал, поднял его.

— Да здравствуем мы, — сказал он спокойно. — Да здравствует великая Франция!

Бокалы встретились с тихим звоном.

Глава 6. Проклятый город Кишинёв

Пушкин ничего не боялся.

Это было первое, что поражало в нём каждого. В эпоху, когда одно неосторожное слово могло стоить карьеры, свободы, а то и жизни, этот низкорослый, растрёпанный молодой человек с африканскими губами вёл себя так, будто страх был эмоцией, которой ему не выдали при рождении.

Он не боялся начальников. В Коллегии иностранных дел, где он числился, являлся на службу в расстёгнутом сюртуке, а иногда и вовсе не являлся, и на замечания отвечал с такой лёгкостью, что старшие чиновники только качали головами. Он не боялся сановников — входил в гостиные как равный, перебивал, спорил, читал стихи, от которых у присутствующих леденела кровь. Он не боялся дуэлей — напротив, казалось, искал их. Малейший косой взгляд, неосторожное слово — и он уже стоял у барьера. Стрелялись из-за тувель, из-за карт, из-за неверно истолкованной шутки. «Пушкин каждый день имеет дуэль», — писала современница, и это почти не было преувеличением.

Но главное — он не боялся говорить.

В салонах, в театрах, на дружеских ужинах, переходящих в попойки, он говорил то, о чём другие шептались по углам. О крепостном праве — «позор России». О военных поселениях — «аракчеевская удавка». О цензуре — «намордник на мысль». О государе — и тут он не выбирал выражений.

Общество сперва изумлялось. Потом — восхищалось. Его стихи переписывали от руки, передавали из казармы в казарму, из гимназии в гимназию. «Деревня» ходила в списках, «К Чаадаеву» знали наизусть, а «Вольность» — оду, которую он написал вскоре после Лицея, — читали везде, где собиралось больше трёх человек.

Именно «Вольность» всё и решила.

Среди строф, говоривших о законе и тирании вообще, была одна — та, что была прямо в сердце правящей династии. Пушкин вспомнил 11 марта 1801 года. Ночь, когда в Михайловском замке убили императора Павла I — отца нынешнего государя. Заговорщики вошли в спальню, и к утру Россия узнала: император скончался от апоплексического удара. Официальная версия. Ложь, в которую никто не верил.

Пушкин написал то, о чем нельзя было говорить:

Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъемный,
Врата отверсты в тьме ночной
Рукой предательства наемной...
...Погиб увенчанный злодей.

Это не было метафорой. Это был прямой, безжалостный рассказ об убийстве Павла. Удар ниже пояса. Сын, чей отец был задушен шарфом в собственной спальне, а мать знала о заговоре, — этот сын должен был читать, как поэт смакует детали той страшной ночи, называя покойного царя «злодеем». Это было личное оскорбление. Напоминание о грехе, который Александр I пытался забыть всю жизнь.

Три года эти строки ходили по салонам. Пока власть делала вид, что не замечает. За это время Пушкин набирал популярность; его читала уже вся молодая Россия, гвардейские офицеры цитировали его в казармах, студенты — в аудиториях. Он становился властителем дум.

Весной 1820 года экземпляр «Вольности» лёг на стол императора Александра Павловича.

Государь читал внимательно. Потом отложил листок. Говорят, он сидел молча несколько минут, и лицо его, обычно бесстрастное, покрылось красными пятнами. Это был признак крайнего гнева — приближённые знали его и боялись.

Император редко выходил из себя — как и положено императору, он умел контролировать свои эмоции. Но факт оставался фактом. Мальчишка, коллежский секретарь без роду и племени, посмел публично оскорбить род Романовых.

— В Сибирь, — сказал государь.

Граф Милорадович, петербургский генерал-губернатор, вызвал Пушкина к себе. Поэт явился — в расстёгнутом сюртуке, с той самой усмешкой, которая бесила начальников больше, чем любые стихи.

— Александр Сергеевич, — сказал Милорадович, — государю доложили о ваших сочинениях.

— Надеюсь, они ему понравились, — ответил Пушкин.

— Вы так думаете?

— Я пишу только правду, и я уверен, император оценит её по достоинству.

— Вы как всегда правы, Александр Сергеевич. Император оценил вашу вольность по достоинству и приказал вам собираться в Сибирь.

— Я могу идти?

— Я буду ходатайствовать, — сказал генерал-губернатор. Но Пушкин не стал даже слушать — развернулся и вышел, хлопнув дверью.

Хоть он и не просил, но за молодого поэта вступились друзья. Карамзин пошёл к императору лично. Государь, выслушав все доводы, сменил гнев на милость, и Сибирь была заменена службой на южной окраине империи. Наказание вышло мягким: поэт успел переболеть на Днепре, провести упоительное, полное вольного ветра лето на Кавказе и в Крыму вместе с Раевскими и лишь к осени добрался до места своего назначения — пыльного бессарабского городка.

Вскоре кавказские восторги окончательно померкли, и навалилась скука.

Без бурной жизни Петербурга, без балов, салонов, азартных игр, споров до хрипоты и стихов, без внимания милых дам... Жизнь в проклятом городке казалась пресной и унылой. Ему казалось, что он увядает в этом мерзком болоте.

Единственное сильное чувство, которое осталось в его душе, — это была ярость. Внутри всё кипело. Он ненавидел этот город. Ненавидел тех, кто его сюда отправил. Ненавидел императора с его лицемерным «прощением». Ненавидел всех, кто посягнул на его священное право жить свободно.

Особенно его раздражала необходимость принудительно ходить на церковные службы. Ему хотелось разорвать эту удушливую тишину, плюнуть в лицо сонной провинции, заставить весь этот чопорный мир содрогнуться. Намеренная обязательная церковная служба, на которую его гнали во время недавнего Великого поста, всё ещё жгла изнутри протестом.

Он обмакнул перо в чернила. И начал писать — быстро, зло, но со всей полнотой своей гениальной души. Под его пером рождалась «Гавриилиада». Поэма, по сравнению с которой «Вольность» казалась детской шалостью. Кошунственная, дерзкая, богохульная, наполненная такой бесстыдной чувственностью, что от одного её чтения у цензоров случился бы удар.

Это был его крик души, протест против всего мира, наполненного ложью и лицемерием, который ненавидит правду.

Так считал молодой поэт, такова была его правда.

Вскоре из-под пера гения родятся и такие строки:

Проклятый город Кишинёв,

Тебя бранить язык устанет.

Когда-нибудь на старый кров

Твоих запачканных домов

Небесный гром, конечно, грянет.

А сейчас он встал, накинул сюртук и вышел — не оглядываясь, не предупредив никого, даже не закрыв за собой дверь.

Презирая все правила и ограничения, он, как вольный ветер, растворился в цыганском таборе, который свободно кочевал по Бессарабии.

Глава 7. Жорж Шарль Дантес

1833 год. Где-то в Пруссии.

Осень здесь в это не время года была просто наказание. Серое небо, серые дороги, серые лица. Дождь моросит не переставая, и кажется, что само мироздание забыло об этой земле.

Жорж Шарль Дантес сидел у окна и смотрел на улицу, по которой не проходил никто. Ему было двадцать два. Он был высок, светловолос, с голубыми глазами и той особенной складкой губ, которую женщины находили неотразимой. Но сейчас глаза его были пусты, а губы сжаты в тонкую линию.

Жизнь не задалась.

Всё, чего он касался, рассыпалось в прах. Сен-Сир — престижное военное училище, куда его устроил отец по протекции, — он так и не закончил. Его выставили с формулировкой, которую в семье старались не произносить вслух: «недисциплинированность, дерзость, неспособность к подчинению». На самом деле — лень, помноженная на уверенность, что мир ему что-то должен. Он пытался найти место в Париже, но Париж отторгал его, как отторгает инородное тело. Денег не было. Связей не было. Отец, небогатый эльзасский помещик, не мог содержать взрослого сына вечно.

Оставалась политика. Вернее, заговор.

Герцогиня Беррийская, мать юного претендента на престол, собирала вокруг себя недовольных. Дантес примкнул к ним из расчёта. Переворот в случае успеха решил бы всё: деньги, положение, будущее. Он поставил на карту всё, что у него было.

И проиграл.

Заговор раскрыли. Герцогиню арестовали. Её сторонники разбежались кто куда. Дантес бежал дальше всех — через границу, в Пруссию. Здесь, в захолустном гарнизоне, он числился на какой-то мелкой должности при штабе — не то писарем, не то адъютантом по особым поручениям, которых никому не требовалось. Ему платили гроши.

Но хуже долгов не было ничего.

Он проиграл в карты сумму, которую не смог бы вернуть и за десять лет.

Дантес сидел и смотрел на дождь. Завтра нужно было платить за квартиру, а у него в кармане не набиралось и десяти франков.

В дверь постучали.

— Войдите, — сказал он, не оборачиваясь.

Дверь открылась. Вошёл человек.

Он был невысок, сухощав, одет в тёмный дорожный сюртук без знаков отличия. Лицо его было незапоминающимся — из тех лиц, которые исчезают из памяти через минуту после того, как их увидел. Но что-то в его осанке, в манере держать голову, в спокойном, оценивающем взгляде заставило Дантеса насторожиться.

— Господин Дантес? — спросил незнакомец.

— Допустим. А вы кто такой?

Человек прошёл в комнату, не дожидаясь приглашения. Огляделся — бедный стол, бедный стул, бедный ковёр. Сел. Положил руки на колени.

— Кто я такой, вам знать не обязательно, — сказал он ровным голосом. — Гораздо важнее то, что я знаю, кто такой вы.

Дантес вспыхнул.

— Послушайте, сударь, — он встал, расправил плечи, попытался нависнуть над гостем, — я не привык, чтобы в моём доме мне задавали загадки. Вы извольте представиться или убирайтесь к чёрту.

Незнакомец не шевельнулся. Только поднял глаза — и Дантес осёкся. Взгляд у этого человека был такой, что слова застряли у него в горле.

— Господин Дантес, — произнёс гость тихо, почти ласково. — Если вы хотите дожить до глубокой старости, я настоятельно советую вам не задавать лишних вопросов. Сядьте. Замолчите. И слушайте.

Дантес сел. Сам не заметил, как.

— Благодарю, — сказал незнакомец. — А теперь я расскажу вам о вас.

Он помолчал, словно собираясь с мыслями.

— Вас зовут Жорж Шарль Дантес, барон д'Антес — именно так, с апострофом, хотя ваш отец добавил его к фамилии самовольно, без всякого на то права. Родились вы в Эльзасе, в семье небогатого помещика. Ваш отец — человек честный, но без связей, и всё, что он смог вам дать, — это место в Сен-Сире. Престижное училище. Блестящие перспективы. Любой на вашем месте вцепился бы в них зубами. Но вы из-за своих особенностей умудрились их упустить.

— Из-за каких таких особенностей? — перебил Дантес.

Незнакомец замолчал. В комнате стало тихо. Потом он повернул голову — медленно, как змея, почуявшаямышь.

— Если вы ещё раз посмеете меня перебить, — сказал он тихо, — это будет последним, что вы сделаете в своей недолгой и никчёмной жизни. Вам ясно?

Дантес кивнул. Горло пересохло.

— Так и быть, я отвечу на ваш вопрос, — продолжил гость. — Чтобы вы лучше понимали, с кем имеете дело. Вы обладаете редким даром очаровывать людей снаружи, будучи абсолютно пустым и безжалостным внутри. Вы патологический эгоист. Для вас не существует понятий «любовь», «дружба», «верность» — только ресурсы и помехи. Вы напрочь лишены способности сопереживать чужой боли. Чужая боль для вас — абстракция. Вы не чувствуете её. Вы не чувствуете вообще ничего, кроме собственного комфорта и собственного тщеславия.

Он говорил спокойно, будто зачитывал медицинский диагноз.

— При этом вы умеете носить маску. Вы красавец, вы весельчак, вы душа компании. Женщины от вас без ума — и вы этим пользуетесь. Мужчины доверяют вам — и вы этим пользуетесь тоже. Но маска сползает мгновенно, едва что-то угрожает вашему комфорту. Тогда перед людьми предстаёт жестокий манипулятор, который не остановится ни перед чем.

Он сделал паузу.

— Вы трус, господин Дантес. Вы обладаете наглостью авантюриста, но в критические моменты всегда прячетесь за чужие спины. Вы сбежали из Франции, когда запахло жареным. Вы оставили долги, которые не сможете выплатить. Вы предали товарищей по заговору. Вы — человек без чести, без совести и без будущего.

Дантес сидел бледный. Руки его дрожали.

— Надеюсь, вы поняли, — сказал незнакомец, — что я знаю о вас даже то, чего вы сами о себе не знаете. Я прекрасно осведомлён о вашем участии в заговоре герцогини Беррийской. Но это не самый страшный ваш грех. Самый страшный ваш грех — вы должны уважаемым людям очень приличную сумму денег и, сбежав из Франции, по-видимому, решили не платить по счетам.

Он наклонился вперёд. Глаза его сузились.

— Господин Дантес, вы что, забыли самое главное правило? Карточный долг превышает всего.

— Я... я... — заикался Дантес.

— Молчать! — голос незнакомца ударил, как хлыст. — Собака. Последний раз тебе говорю.

Наступила тишина. Слышно было только, как дождь барабанит по стеклу. Дантес вжался в стул, чувствуя, как холодный пот стекает по спине. Он ещё никогда в жизни не испытывал такого страха. Перед ним сидел не человек. Перед ним сидела судьба.

Незнакомец выждал паузу. Потом заговорил снова — ровно, деловито, почти ласково, будто ничего не произошло:

— Господин Дантес, я прекрасно знаю, что вы не сможете выплатить этот долг. Я также прекрасно знаю, что вы любите жизнь и мечтаете о роскоши и власти. Нам нужны такие талантливые люди, которые готовы рискнуть и пойти на всё ради своей мечты. Я предлагаю вам прийти на встречу к одному очень влиятельному и уважаемому человеку. Если вы ему понравитесь и будете делать всё, что он вам скажет, я обещаю: вы не только сможете вернуть долг, но и осуществите все свои мечты.

Он встал. Достал из кармана конверт. Положил на стол.

— Здесь небольшая сумма денег. И адрес. Время встречи указано внутри. Не опаздывайте.

Он направился к двери, но на пороге обернулся.

— Что скажете, господин Дантес? Вы принимаете моё предложение?

Дантес сглотнул. Голос вернулся не сразу. Он посмотрел на конверт, потом на гостя. В его глазах промелькнуло что-то — не благодарность, нет. Скорее, судорожная надежда загнанного зверя, которому неожиданно открыли дверцу клетки.

— Да... конечно, да... я вам премного благодарен...

— Вот и славно, — сказал незнакомец и вышел, не прощаясь.

Глава 8. Барон Луи Геккерн

1833 год. Пруссия.

В назначенный час Дантес стоял у дверей отеля.

Конверт, оставленный незнакомцем, он сжёг ещё в дороге, но адрес помнил наизусть. Отель был из тех, где останавливаются люди, не желающие, чтобы их имена значились в регистрационных книгах. Ни вывески, ни швейцара — только тяжёлая дубовая дверь, которая открылась прежде, чем он успел постучать.

Его ждали.

Дантеса провели в гостиную — тёмную, обитую бархатом, с камином, в котором потрескивали дрова. В кресле у огня сидел человек. Он был немолод — лет за сорок, — но держался с той особенной выправкой, которая выдаёт либо военного, либо дипломата. Лицо его было подвижным, глаза — внимательными, цепкими, а тонкие губы всё время чуть кривились в усмешке, словно он знал что-то такое, чего не знал никто. Барон Луи Геккерн, посланник нидерландского двора, — так значилось в его верительных грамотах. Впрочем, Дантес уже догадывался, что верительные грамоты — не единственное, что определяет статус этого человека.

— А, вот и наш юный друг, — произнёс барон, не вставая. — Садитесь. Ближе к огню. Вы пределали долгий путь.

Дантес сел. Барон смотрел на него — изучающе, как смотрят на лошадь перед покупкой. Дантес чувствовал этот взгляд и не знал, куда деть руки.

— Мне говорили о вас, — сказал Геккерн. — Говорили много и по-разному. Но я привык составлять собственное мнение. Расскажите о себе. Только, прошу вас, без романтических преувеличений. Правду. Я ценю правду.

Дантес начал говорить. Сначала неуверенно, потом — смелее. Барон слушал, не перебивая, изредка кивая. Когда рассказ дошёл до заговора, он усмехнулся. Когда до долгов — нахмурился. Когда до бегства из Франции — поднял бровь, но ничего не сказал.

— Любопытно, — произнёс он, когда Дантес замолчал. — Очень любопытно. Вы, как я погляжу, умеете нравиться людям. Это редкий дар. Но вы также умеете терять всё, что приобрели. Это дар менее ценный.

В какой-то момент Дантес вдруг понял, что барон смотрит на него иначе. Не как начальник на подчинённого. Не как вербовщик на завербованного. А как-то... теплее. Ближе. Рука барона задержалась на его плече чуть дольше, чем требовала вежливость. Голос стал мягче, интонации — интимнее. Дантес всё понял. На мгновение внутри что-то дрогнуло. Но он тут же подавил это чувство. Он знал правила игры. И сделал свой выбор.

На следующий день барон впервые назвал его «мой милый друг». И с этого момента всё изменилось.

— Мой милый друг, — сказал Геккерн, лениво перебирая волосы Дантеса, пока тот сидел у его ног на низком пуфе, — ты, верно, хочешь знать, как устроены дела?

— Очень хочу, — ответил Дантес.

Барон улыбнулся. Ему нравилось, когда его новый протеже смотрит с таким вниманием.

— Тогда слушай. Русские князья, мой милый друг, подобны сказочной антилопе из восточных сказок, которая выбивает из своих копыт золото. Они богаты и беспечны. Они приезжают в Париж, чтобы вкусить жизни, — и мы им эту жизнь предоставляем. Лучшие вина, лучшие женщины, лучшие карточные столы. Всё в кредит, разумеется. Под честное слово. А для тех, кто не может себе позволить приехать в Париж, мы организовали филиалы в их любимой России.

Дантес слушал, затаив дыхание.

— Мы даём им возможность вкушать и наслаждаться свободой Парижа в закрытых клубах. Хорошее вино, женщины и, самое главное, азартные игры. А за удовольствие, как известно, надо платить, мой милый друг.

Барон улыбнулся и продолжил:

— Схема такая. Мы приглашаем благородных господ на вечер к уважаемым людям. Отказаться от такого предложения они не могут — это расценят как неуважение. Затем мы предлагаем сыграть в карты. Отказаться они тоже не могут: в этом случае им придётся признать, что у них нет денег, либо признать, что они боятся их потерять. И тут самое смешное: мы активно поддерживаем миф о том, что бояться потерять деньги для благородного русского аристократа — ниже его достоинства. Понимаешь?

— Понимаю, — улыбаясь, сказал Дантес.

— Ну так слушай дальше, мой милый друг. Мы активно поддерживаем ещё и то, что благородный господин, играя в карты, не сомневается в честности своего оппонента. Понимаешь?

— Понимаю, — сказал Дантес и уже засмеялся в полную силу, не сдерживая себя.

Барон тоже засмеялся и продолжил:

— Волей богов им ужасно не везёт, и они проигрывают.

Оба мужчины разразились хохотом.

— Не может быть, чтобы всё было так просто.

— Милый друг, они не просто проигрывают. Они отдают нам всё. А когда заканчиваются деньги, они переписывают свои имения на нужных нам людей. А потом пускают себе пулю в лоб. Дворянин не может объявить себя банкротом — это бесчестие. Он должен либо отдать долг, либо умереть.

— Каким образом отдать долг, если его уже ободрали как липку?

Барон откинулся в кресле, не убирая руки с плеча Дантеса.

— Несколько лет назад в Париж приехал молодой русский князь. Совсем юный, лет двадцати. Красавец, богатырь, бас — как колокол. Он снял особняк на улице Сен-Жермен и устроил такой праздник, что весь Париж говорил о нём. Шампанское лилось фонтанами. Он дарил бриллианты актрисам, а лошадей — случайным знакомым. Всё это длилось — кажется, дней пять или десять, — но по размаху он переплюнул всех.

— Я слышал эту историю, — сказал Дантес.

— Именно, — кивнул Геккери. — Но ты не слышал продолжения. А продолжение было таким. Вернувшись в Россию и вкусив прелести сладкой жизни Парижа, этот юный князь, подобно последнему пьянице, не мог остановиться. Он играл. Играл без ума, без счёта, без оглядки. И проиграл нашим людям совершенно невероятную сумму. Такую, что продажа имений не покрыла бы и половины.

— И что было дальше? — спросил Дантес.

Барон улыбнулся:

— А дальше, мой милый друг, было то, что он по совету бабушки умерил свой пыл — и через тройку, семёрку, туз чудесным образом смог отыгаться и сохранить лицо. Понимаешь? Ему дали отыгаться. Это была милость. А за милость нужно платить. И с тех пор он, как и ты, мой милый Дантес, верно служит нашему делу и прикрывает наш бизнес своим честным именем.

Дантес помолчал, переваривая услышанное.

— А моя роль? — спросил он наконец. — В чём будет моя роль?

Барон посмотрел на него долгим, ласкающим взглядом. Погладил по щеке.

— Твоя роль, мой милый друг, — быть бретёром.

— Бретёром? — переспросил Дантес. — То есть...

— То есть человеком, который наказывает тех, кто не готов платить по счетам, — пояснил Геккерн. — В Петербурге, знаешь ли, это случается часто. Оскорбление благородного дома и обвинение в том, что тут играют нечестно.

Дантес побледнел.

— Но позвольте, барон... дуэль — это смертельный риск.

Геккерн расхохотался. Смех его был лёгким, почти отеческим.

— Ах, мой милый друг, какая трогательная наивность. Кто сказал, что дуэль должна быть честной?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.